

Памяти Иосифа Островского

К 70-ЛЕТИЮ ХУДОЖНИКА

Наша жизнь состоит из моментов и встреч, которые, как кусочки цветного стекла, собираются в витраж. Вспоминаю прекрасную выставку И. Островского в 1977 году в Союзе художников на Торговой. Пейзажи, портреты, цветы были искренне индивидуальны, в то же время колористически тонко исполнены. Глаза портретов заглядывали глубоко в душу, а деревья на пейзажах создавали сказочную тайну.

Как-то Леша Лопатников, который был тогда соседом Осика по мастерской на Белинского, сказал мне: "Ты должен посмотреть, каких



стариков-евреев рисует Островский". В мастерской Осика как будто ожили тени давно забытых предков — читающие, молящиеся, задумчивые, трагические старцы. Художник вернулся на Родину предков задолго до отъезда в Израиль. Образы эти выходили из художника ненавязчиво, просто он не мог их не создавать.

Часто его мучили сомнения, но это состояние есть почти у всех творцов. Нужно было рисовать для Фонда одно, для выставок в Киеве — другое, для Москвы — третье, а интуитивно тянуло писать свое — стариков, которых он опасался тогда еще выносить на суд зрителя.

Позже была групповая выставка в музее на Короленко, выставка к кинофестивалю в Аркадии, но уже вовсю задули ветры из дальних стран. По слухам, Осик уезжал в США. Я спросил его об этом, на что он ответил эмоционально: "Я что — американец? Я еврей и еду в Израиль!".

Впереди, казалось, ждала только радость. Но болезни не интересуются планами людей. Когда я приехал в Израиль на полгода позже Осика, мы встретились у него дома в Рамат Гане. У него была позади еще одна операция. В салоне квартиры на мольберте стоял холст, который художник дописывал, — "Стена Плача". С собой Иосиф теперь носил альбом и постоянно зарисовывал пейзажи и людей, даже в больнице.

Шла новая жизнь со своими проблемами, перестраиваться в которой очень сложно даже детям, не

говоря уже о зрелом мастере. Миша Матусевич на первых порах очень помог Осике (Миша уже 20 лет жил в стране) — к приезду снял квартиру для него, принес холсты, рамы, краски. Позже семья переехала на юг в г. Сдерот, а мэром города выделил Осике просторную мастерскую!

Но судьба, к сожалению, распорядилась по-своему. Операция, тяжелый курс лечения — и наконец в сентябре 1993 г. Осика не стало.

Странное совпадение — и он, и друживший с ним Александр Борисович Фрейдин, умерли в 58 лет. Александр Борисович часто говорил мне: "Надо делать только духовные работы". "Это духовно? — спрашивал он меня, показывая живопись или рисунок. — Я и Осике сказал, чтобы он делал только духовные работы". Это было немного смешно и наивно, ведь духовность у всех проявляется (или нет) по-разному. В творчестве же Островского она присутствовала давно. Художник живет, пока жив, а слава пусть будет посмертной. Однако слава оказалась и прижизненной тоже.

Уходят художники — Фрейдин, Островский, Власов, Лоза, Степанов, Сычев, Коваленко. Уходят, а их творчество остается, чтобы занять свое место в музеях и собраниях Одессы и за рубежом. Работы их радуют глаз и излучают никогда не умирающую силу искусства. Это и есть лучший им памятник.

Григорий БУРЛЕ,
художник.
Израиль, 2005 г.

Мастер

Первые воспоминания, довольно смутные, относятся ко времени моей учебы в Одесском художественном училище. Мне повезло с учителями. Дина Михайловна Фрумина воспитала целую плеяду талантливых художников. Некоторые из них приходили к нам на занятия и показывали свои этюды Дине Михайловне. Это было первое знакомство с Межбергом, Межирицким, Малышевым, Осиком Островским. Мы наблюдали за общением между учителем и уже зрелыми мастерами живописи.

Через 20 лет я столкнулся с Островским во дворе Русского театра. Оказалось, что моя студия находилась рядом с мастерской Осика. Не могу сказать, что наши встречи были частыми, так как я в силу своей стеснительности боялся надоедать именитому соседу. Запомнилась одна встреча у меня в мастерской. Я писал портрет жены и никак не мог завершить его, что-то не клеилось. По моей просьбе Осик очень деликатно, боясь обидеть меня, сделал некоторые замечания. Мне это очень помогло, и я всегда с благодарностью вспоминаю этот эпизод.

У Островского в студии бывали очень известные люди. Однажды, заглянув в окно, я увидел очень знакомое лицо — это был Зиновий Гердт. В общей парадной я сталкивался с Татьяной Тэсс и профессором Великановым, которые часто бывали у Осика.

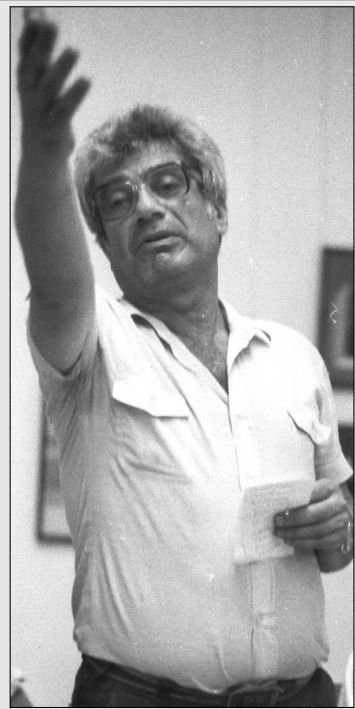
Мы все это время получали живописные заказы в Худфонде, и я встречался с Осиком как членом худсовета, когда принимали очередную мою картину.

Настоящим шоком для меня было посещение студии Островского, когда он показал мне серию новых работ. Мощные, неожиданные — эти ветхозаветные старики были мне тогда непонятны. Я привык к другой, более традиционной живописи, а тут — прорыв в другой мир!

Осик говорил, что коллеги из соседних студий, заходя к нему, стараются не смотреть в сторону его новых работ. Ему предлагали писать тематические картины к советской истории и действительности, обещаая звания и почести. Его фраза по этому поводу — "Ребята, я в эти игры не играю", — постоянно мне вспоминается.

Не берусь судить о причинах перемен в его живописи, очевидно, это шло изнутри, и он в конечном итоге состоялся как большой мастер.

Давид БЕККЕР.



Из ненаписанных воспоминаний

С Иосифом Островским меня познакомил известный одесский журналист Феликс Кохрихт.

— Вот ты и встретился с большим художником, — сказал мне Феликс, гася иронию в своих глазах. — Такое может случиться только в моей двухкомнатной квартире, в которой до меня жил еще один большой художник и друг Иосифа — Лев Межберг, но он, как ты ведаешь, эмигрировал из нашего города просто в огромный мегаполис — Нью-Йорк, откуда пишет письма в Одессу нашей с тобой любимой женщине — Раечке Ойгензихт. И правильно делает.

Раиса Исааковна, когда впервые увидела Островского и его картины, сказала:

— Иосиф красив, как античный бог, при этом он и ангел-искуситель, потому что времени налюбоваться и впитать в себя его картины никогда не хватает. Если бы все евреи были такими, как на его картинах, то мы бы считались, скажу без ложной скромности, самыми большими мудрецами. Но одно меня радует: именно таким был мой муж Семочка...

Раиса Исааковна приводила к Иосифу Островскому своих друзей. Заявляла:

— Я так делаю не только для них, но и для себя, ведь надо еще раз увидеть на картинах моего Семочку и порадоваться за него, что он остался на земле не только в моей памяти.

— Откуда у вас, Иосиф, эти евреи? — интересовалась Раиса Исааковна. — Как вы их смогли собрать в своей мастерской в таком большом количестве? А ведь среди них нет ни одного проходимца. Все — порядочные люди, не желающие прятать свою национальность.

— Так получилось, — пожимал плечами Островский. — Произошло по какому-то недоразумению, но оно, недоразумение, окончилось благополучно, потому что евреев у меня становится все больше и больше. Теперь я чему-то, можете мне поверить, учусь у них. А сам я их учить не могу, ведь я всего лишь художник.

Я тогда работал наладчиком на заводе фрезерных станков имени Кирова, а жил, как и сейчас, на Итальянском бульваре. И по будням два раза в день проходил мимо его мастерской на улице Белинского. Иногда по вечерам он попадался мне навстречу, иногда закрывал ключом или, наоборот, открывал дверь, ведущую в мастерские. Часто мы перебрасывались несколькими фразами. Когда он считал, что картина у него получалась, его большие глаза становились веселыми и счастливыми, а когда он работал по заказам Худфонда — тоскливыми, как город, одетый в осенний туман.

— Пишу для денег, — жаловался он, — стадо коров, сугубо реалистическое стадо, с рогами и копытами. Занимаюсь проверенным социализмом, но подпись свою поставлю только в ведомости, когда буду расписываться за гонорар, — полторы

тысячи рублей, но жить как-то надо, да и писать на холстах евреев без "коровьей" поддержки не получится, ведь семью, сам понимаешь, надо кормить, одевать и обувать, — голос его в таких случаях звучал печально и задиристо. — Коровы у меня выхоят с тоскою в глазах. Председатель сельсовета заставит меня коровьи глаза переписывать, ведь по его мнению, у социалистических коров печали в глазах не бывает. Как и у наших вождей — прошлых и настоящих... Ладно, хватит о наболевшем, проведу меня лучше к остановке троллейбуса...

Картины с евреями, помнитесь, меня, впервые пришедшего в его мастерскую, ошеломили. Евреи сидели, стояли. Поодиночке и группами. И во мне сразу забурились самые разные эмоции. Я сразу заболел этими евреями Островского, потому что в каждом из них была какая-то бездонная глубина. Я готов был расплакаться, когда смотрел на них, но они дали мне силы пересилить себя и спрятать слезы — справиться с подступившей слабостью.

— Как их зовут, твоих евреев? — почему-то спросил я Иосифа.

Островский насмешливо блеснул глазами. Несколько минут длилось молчание, а потом он сказал:

— У них разные имена, поверь мне. Настоящие еврейские имена, а не зашифрованные, как часто у евреев, твоих ровесников. И морщины у них, можешь проверить, настоящие...

Иосиф любил читать стихи еврейских поэтов. Разумеется, в переводе. Перед отъездом он подарил мне около 30 книжечек — переводных, с идиша. И один большой том Перца Маркиша. Однажды он мне прочитал наизусть стихотворение Маркиша "Белые козы" (потом я выяснил, что его перевел Л. Руст). Мне почему-то сразу запомнилась строфа:

О, пощади меня, смерть, до поры...

Страшной над сердцем не висни угрозой!

Ждут меня, кличут со склона горы

Белые, белые козы...

Наверное, потому что на картинах Островского из его "еврейского" цикла козы всегда были замечательными. К тому же я тогда знал, что Иосиф сумел взойти в своем творчестве на самую высокую гору, и ее крутой склон не стал ему помехой. Моя подруга — киевлянка Катя Овчинникова (теперь она в Бостоне, гражданка США) — после первого посещения мастерской художника сказала мне:

— Иосиф сложнее, чем хочет показаться, отсюда и глубина его картин.

Катя тогда работала научным сотрудником Киевского музея западного и восточного искусства (ее дед, известный киевский художник, написал цикл пронзительных картин "Бабий Яр" раньше стихотворения Евгения Евтушенко; ко-

да-то он был директором этого музея), перед художниками не робела, но с Иосифом разговаривала очень почтительно. А он ею откровенно любовался, делал комплименты, потому что она была красива, но своей красотой не кичилась. Островский, когда мы пили вино, провозгласил тост за красивых киевлянок, а потом подарил Кате эскиз с закарпатской рошей и подписал фломастером: "Очаровательной Кате с благодарностью за то, что она не сделала искусствовецкой аналитикой моих работ". Помнится, что Иосиф назвал несколько раз Катю плутовкой. Только когда мы покинули мастерскую, девушка объяснила мне, что в коллекции ее музея есть замечательная картина английского живописца, выдающегося портретиста, жившего в восемнадцатом столетии, Джозуа Рейнольдса "Плутовка", а у той лукавой девочки волосы, как и у Кати, рыжие. Именно потом и последовал ее вывод:

— Иосиф сложнее, чем хочет показаться, отсюда и глубина его картин.

Помню, как Иосиф, когда я пришел в мастерскую в очередной раз, сказал мне:

— У меня хорошее настроение, и я готов сделать тебе королевский подарок. Он поставил возле стены серию картин и приказал бодрим голосом: — Выбирай себе одну.

Выбрать было невероятно трудно. Евреи на картинах качали бородами. Все портреты были замечательными. Я попросил Островского:

— Помогите мне.

Он выбрал зеленого еврея с книгой. Наградил меня, книжечка, своим книжечком. Потом сказал:

— Теперь, узнав, что я подарил тебе картину, начнут делать подарки и другие художники. Вот увидишь. Но твоя коллекция, поверь мне, началась с настоящей картины. Как-никак, в живописи я понимаю.

Через неделю он спросил меня:

— Привык к моему еврею? Успел с ним подружиться?

Я сказал:

— Никогда не отплатю тебе за такой подарок.

— За подарки платить не надо, — рассмеялся он. — Но слишком часто я тебе картины дарить не буду. Мне с ними, можешь поверить, расставаться невозможно.

Мы как-то пришли в мастерскую к Иосифу со Степаном Петровичем Ильевым. Они знали о существовании друг друга, но не были знакомы. Ильев был одним из лучших профессоров филологии Одесского университета, знатоком серебряного века, влюбленным в творчество Ходасевича, Георгия Иванова, Белого раннего Маяковского, Пастернака и в живопись начала двадцатого века — Бакста, Экстер, Бурлюка, Бенуа, Шагала.

Ильев сказал Островскому:

— Иосиф, ваши евреи совершенны. Они — и

обвиняемые, и адвокаты, и судьи. Они вовлечены в себя, но при этом раскованы, потому что мнение толпы их не интересует. Я чувствую, что все они, говоря словами Маркеса, вышли из "неприкосновенного тайника вашего сердца"...

Я не знаю, была ли эта встреча первой и последней. Хотел спросить у Островского и Ильева, но так и не спросил. Но профессор филологии и художник были взволнованы общением друг с другом. Я подумал, что внутренне они очень похожи. Своими поисками и даже своим отчаянием. И загорающимися глазами. А еще неуемным притворяться. И невниманием к своей одежде. И хлопотами о других людях, о которых они часто бескорыстно заботились. Ильев порой занимался бесплатно с абитуриентами. Островский соглашался писать портреты по заказу, а потом дарил их. Это уже когда была волна эмиграции, и его евреев увозили в разные страны. Тогда он мог позволить себе делать такие дорогие подарки.

Ильев был большим интеллектуалом, а Островский никогда им не был. Он ничего путного не мог сказать о прогрессе цивилизации. Не умел придавать своим словам излишней многозначности. Они у него были просты, как вдохи и выдохи. Но зато его картины с каждым годом становились все сложнее. А я, благодаря еврейским старикам, которых он подарил мне, написал книгу стихов "Звезда Давида", первую свою опубликованную книгу, которую рецензировал С.П. Ильев. Сейчас мне в этой книге многое не нравится, но стихотворения из нее переведены на испанский и финский языки, подборка стихотворений опубликована в московском журнале "Советиш геймланд", в редакции которого была и выставка работ Островского. В 1990 году Борис Могильнер, поэт и член редколлегии журнала, говорил мне, что выставка оказалась своевременной — ее посмотрело несколько сотен посетителей, и все они, москвичи и приезжие, стали почтителями творчества Островского. "По-другому, — сказал Б. Могильнер, — и быть не могло".

В 1989 году проводы Островского и его семьи в Израиль были шумными, в квартире царил хаос, Иосиф раздирал свои картины друзьям и приятелям. Но в тот вечер он дарил только пейзажи и портреты. И часто в его глазах стояли слезы отчаяния. И сам он напоминал печального еврея, сошедшего с холста. Он сказал мне: "Ничего радостного в моей душе нет, но надо справиться с болью и жить дальше". И еще он сказал мне: "Давай забудем плохое, а будем помнить только хорошее. Вспомни меня улыбающимся и верящим в себя, а раскисшим, как сегодня, вспомнить меня не надо. И не обращай внимания на критиков и недругов. Без них нельзя — их нелюбовь дает нам силы работать... Я еще приеду в Одессу, вот увидишь".

Настоящие художники не умирают. Они парят над нами в небесах. И надо мной вечно парит Иосиф Островский.

Игорь ПОТОЦКИЙ.